

КОНЦЕПТ «ХЛЕБ» В СТРУКТУРЕ ОДНОИМЕННОГО РОМАНА Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

В «Сборнике Кирши Данилова» — этом своего рода макрокосме русско-народного эпоса — особый интерес для исследователей представляет временной аспект мышления Кирилла Данилова, а шире — формы организации времени в эпическом мире русского фольклора [1]. Отметим в связи с этим основное, обнаруженное в свое время исследователями «Сборника»:

— отнесение действия к определенному временному промежутку (по сути, их два: «старое» и «новое» время). Временной рубеж сознание сказителя пролагает между эпохой Ивана Грозного и эпохой Смуты. Отсюда и особые формулы времени, подчеркивающие «давность» изображаемого: «в годы прежняя, времена первоначальныя», «да в старые годы, прежняя», «тем старина и кончилась» и пр., отсюда и особое жанровое определение эпических произведений в народной среде — «старина», «старинка»;

— использование *христианских праздников* для более точного временно-го прикрепления. Например, в песне «Ермак взял Сибирь» Данилов, перелагая предания, «сохраняет точное определение времени всех событий и протяженности похода, ориентируясь по христианским праздникам: “жили оне тут казаки с весны до троюцова дни”, “и поплыли по Туре-реке в Епанчу-реку, и тут оне жили до Петрова дни”, в Тобольске были “с Покрова до Зимнява Николина дня”, Ермак прибыл в Москву “на канун праздника Христова дня”» [2] и пр.

Подобным образом художественное время организовано и в романе «Хлеб» — это, безусловно, одно из ярчайших проявлений фольклоризма в поздней уральской прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка. Вообще, «Сборник Кирши Данилова» был хорошо известен Мамину-Сибиряку. В «Записных книжках» писателя имеются тексты, заимствованные из этого сборника.

Общеизвестно, что весь календарный год на Руси был распisan и подчинялся вековой необходимости — вырастить хлеб, тем самым сохранив жизнь. Именно поэтому *народный календарь* становится основной формой организации художественного времени в романе: описываемые события совершаются «перед», «незадолго до», «в», «на», «после» какого-либо традиционного народного праздника, ср.:

«Харитина совсем собралась уходить от Галактиона, когда случилось одно событие, которое точно пришло к ней на помощь. Это было незадолго до Масленицы» [3];

«В Великом посту приехал в Заполье старик Колобов и завернул навестить Харитона Артемьича».

Ежегодно совершаемая «помочь» для суслонских прихожан становится частью летней календарной обрядности, неразрывно связанной с обрядностью семейной, в которой, как известно, главным действующим лицом был сельский поп:

«Перед Ильиным днем поп Макара устраивал “помочь”. На покос выходило до полуторых сот косцов. Мужики любили попа Макара и не отказывались поработать денек. Да и как было не поработать, когда поп Макара крестил почти всех косцов, венчал, а в будущем должен был похоронить?»

В различных обрядах и ритуалах хлеб, как известно, сопутствовал существенным и переломным этапам: его переламывали над головами юношей во время обряда инициации и во время именин, его целовали, им благословляли. В романе Мамина-Сибиряка хлеб становится символическим воплощением очередного переломного момента в истории России, а отношение к нему — знаковым: традиционное (сакральное, уважительное) восприятие хлеба — свидетельство принадлежности к «старинке»; уничтожение хлеба, превращение его в пьяное зелье (водку) ради «желтого дьявола» — знак принадлежности к «нонешним» временам. В эпоху, описываемую в романе, меняется сам *статус* хлеба — одного из концептов русской культуры (а в контексте традиционной крестьянской культуры — ведущей константы бытия). Стало быть, меняется статус традиции, обычая, уклада всей многовековой жизни русского человека. В романе Мамина-Сибиряка хлеб становится персонификацией национальной традиции в ее универсальном значении.

«Ныне», «нынче», «ноне», «по-новому», «по-модному» соответственно «нынешний» — «нонешний», «нынешние времена» (у Мамина обязательно во множественном числе) — таковы романские формулы определения настоящего времени и признак того, что то или иное событие совершается в настоящем. Экспрессивно-эмоциональные оценки настоящего (с отрицательной, пренебрежительной коннотацией) — «*фигли-мигли*», «*трень-брень*», «*жисть каторжная!*», «*троюродное наплевать*». Для определения прошлого (прошедшего) и характеристики события в прошлом используются следующие формулы: «*раньше*», «*прежде*», «*тогда*», «*истари*», «*старина*» (чаще — «*старинка*»), соответственно «*ранешний*», «*прежний*», «*старинный*», «*старинные люди*». Экспрессивно-эмоциональная оценка прошлого (с оттенком пренебрежительности) — «*темнота*». «Старинки» можно «*держаться*», однако ею же можно «*поступиться*». Отношение к старине, часто выражаемое через отношение к хлебу и связанным с ним традициям (или к его эквиваленту — например, «*пирог с луком*» — см. ниже) — основной способ характеристики человека в романе, все прочее (отношение к прогрессу и культуре, браку, семейно-родственным узам, воспитанию детей и т. д.) — является лишь его производной. Прошлое (любая его составляющая) либо сакрализуется и становится предметом ностальгии для героев, и в этом случае слово «старинка» произносится ласково и с любовью, — либо иронически и с сожалением, если прошлое сознательно профанируется, ср., например:

«Все-то по-новому, по-модному, на отличку. Старинку как метлой вымело», — перед нами непрямая речь Михея Зотыча Колобова, и именно эти слова могут стать эпиграфом к роману;

«К сожалению, наши инженеры ничего не понимают и держатся старинки»;

«Ничего подобного раньше не бывало, и кутеческие дела велись ощутью, по старинке»; «Ты теперь не узнаешь города. <...> От старинки-то как есть ничего не осталось», — автор замечает, что об этом Прохоров говорит «с сокрушением».

«Тогда много греха на душу взял старик Михай Зотыч, когда насильно женил его на Серафиме. Прежде-то всегда так делали, а по нынешним временам говорят, что свои глаза есть»;

«Очень уж он любил свою дочурку и для нее в первый раз поступился старинкой...».

Отказ от старины («аромата русских щей, горевшей в углу лампадки», «гардероба... пещерного периода», «ветхозаветных горниц» — в общем жизни, когда «все попросту») в пользу новой обстановки и нового воспитания приравнивается к физической утрате ребенка: старуха нянька «ревела еще с вечера», оплакивая свою воспитанницу Устеньку Луковникову, словно покойницу. Ситуация усугубляется еще и тем, что Тарас Семеныч «рехнулся» и хочет «обасурманить» родную дочь, поскольку Стабровские — католики. Итак, отказ от «старинки» ее апологетами приравнивается либо к смерти, либо к сумасшествию человека.

Кульминацией разговоров о «старинке» и «нынешних временах» становится диалог мельника Ермилыча и писаря Замараева в 3-й части романа:

«Вот мы лежим с тобою на травке, Ермилыч... там, значит, помочане орудуют... поп Макар уж вперед все свои барыши высчитал... да... Так еще, значит, отцами и дедами заведено, по старинке, и вдруг — ничего!

— Как ничего?

— Да так... Вот ты теперь ешь пирог с луком, а вдруг протянется невидимая лапа и цап твой пирог. Только и видел... Ты пасть-то раскрыл, а пирога уж нет».

Фантастическая картина, порожденная тревожным сознанием Флегонта Васильича, оказалась провидческой: никому «невидимая лапа» «сцапала» «пирог с луком» не у Ермилыча (тот успел приспособиться к «нонешним временам»), а у целого — когда-то благоденствующего! — края. Для самого писаря Замараева кульминационным моментом в его отношениях со старинной становится случайно подслушанный интимный разговор «проклятых баб», где «досталось на орехи» и суслонским мужьям, в том числе Флегонту Васильичу:

«Бабы и те понимают, что по-прежнему жить нельзя. Было время, да отошло... да...»

Экзистенциальный страх перед «нынешними временами» постепенно сменяется у Замараева горячей симпатией к ним и желанием «соответствовать», а как следствие — презрением к «старинке»:

«Нет, брат шабаш, старинка-то приказала долго жить. По нынешним временам вон какие народы появились. Они, брат, выучат жить. Темноту-то как рукой снимут... да».

Произнося данный монолог, герой помогает себе жестикуляцией: делает «вызывающий жест». Образ «старинки» в речи Замараева обретает антропоморфные черты («приказала долго жить»), а слово «народы» (вместо традиционного «народ») подчеркивает эпохальность происходящих событий. Однако ссылка на старину — например, в форме народного афоризма, апеллирующего к «хлебной» метафорике, — и для Флегонта Васильича, и

для большинства других героев, отказавшихся от нее на практике, оказывается авторитетным подтверждением правоты действий и поступков человека, своего рода оберегом:

«Без стыда лица не износишь, как сказывали старинные люди, а перемелется — мука будет».

Само отношение к старине также выражается героями через емкое народное сравнение:

«Конечно, мы люди темные и прожили век, как тараканы за печкой... Темные люди, одним словом».

Дважды повторенная Тарасом Семенычем Луковниковым самохарактеристика — «люди темные», «темные люди, одним словом» — придает ей большую значимость. Постепенно в ходе развития романного сюжета складывается, а затем усиливается оппозиция «темные люди», «старинные люди» — и «новые умные люди».

Своего рода прелюдией к «нонешним временам» в романе становится строительство Колобовым-старшим мельницы. В разговорах героев возникает зооморфный образ будущей мельницы как гигантского чудовища, пожирающего все и вся:

«Ежели она, напримерно, ахнет в сутки пятьсот мешков? Съест она нас всех и с потрохами. Где хлеба набраться на такую прорву?»

О строительстве мельницы размышляют суслонский поп Макарий (представитель Русской православной церкви), мельник Ермильч (зажиточный суслонский крестьянин), волостной писарь Флегонт Васильич Замараев (представитель государственной власти). Их устами говорит как бы сама исконная, патриархальная Русь, существо которой в XIX столетии максимально выразила уваровская триада «православие» (здесь — поп Макарь), «самодержавие» (писарь Замараев), «народность» (крестьянин Ермильч). И в разговоре этих героев четко формулируются три позиции в отношении прихода «нынешних времен» и «новых умных людей»:

— суслонский поп Макарь:

«Жили мы без них, благодаря Бога и не мудрствуя лукаво».

Русская православная церковь, таким образом, в лице попа Макария проповедует жизнь без излишеств (когда «все попросту») и с именем Бога на устах;

— мельник Ермильч:

«Раздавят нас, как лягушек. Разговор короткий. Одним словом — силища».

Очевидно, что деятельность «новых умных людей» предельно гиперболизируется в речи уральского крестьянина («раздавят», «силища»), обретая эпический размах. Обе гиперболы вызывают ассоциации именно с былинным эпосом, где подобным образом создавался образ несметной вражеской силы;

— писарь Замараев:

«А ежели у нас темнота? Будут деньги, будет и торговля <...> у хлеба не без крох».

«У хлеба не без крох», — именно так метко указывают на Руси на характерную черту русского человека (напомним, что в романе это произносит именно государственный служащий!), поясняемую одним словом — «воруют»: ведь тому, кто связан с прибылью и доходами, всегда найдется чем поживиться, ему всегда что-нибудь перепадет. Подчеркнем, что подобная оценка человека в романе под названием «Хлеб» сопровождается именно «хлебной» метафорой.

Показательно, что данные реплики героев содержат и проекции их собственных будущих судеб: поп Макар остался верен традиции, более того, не побоялся противостоять произволу и полной безнаказанности действий «сибирского волка» — исправника-стяжателя Полуянова; мельник Ермилыч был зверски убит — «раздавлен» — озлобленным народом во время страшного голода; писарь Замараев бросает деревню и устранивается в городе на «современную руку», фактически становясь одним из «новых умных людей».

Мы убедились, что время в романе выступает в качестве мощной разрушающей и созидающей силы. Михей Зотыч Колобов, или Колобов-старший, — наиболее сложный и неоднозначно прочитываемый образ в плане восприятия, оценки и активного созидания времени и, соответственно, в плане отношения к традиции, материализованной здесь в «хлебном» сюжете. Действительно, он как никто иной персонифицирует идею старины — и в то же время является яростным ее разрушителем. На уровне фабульного действия смену времен знаменует строительство именно Колобовым-старшим собственной мельницы — «меленки», как ласково называет ее герой.

Символическим прологом сюжетной линии, связанной со стариком Колобовым, становится обыгрывание им на уровне речевого поведения и последующих действий родового прозвища (Колобов — Колобок) через обращение к сказочной традиции (русская народная сказка «Колобок») с последующей трансформацией ее фабулы (здесь «Колобок» благополучно «уходит» и от «Лисы», причем именно «Лиса» оказывается в наиглупейшем положении):

«— Бродяга? Непомнящий родства? Так... А прозвище?»

— Колобок, — смело ответил старик, с улыбочкой поглядывая на мельника. — Божий человек, значит».

Далее прозвище сознательно эксплицируется в сказку самим героем и становится ярким примером лицедейства:

«— Слыхали, — протянул писарь. — Много вас, таких-то божьих людей, каждое лето по Ключевой идет. Достаточно известны. Ну, а дальше што можешь объяснить? Паспорт есть?»

— По сусекам метен, по закромам скребен, — вот тебе и весь паспорт.

<...>

— Ну, что ты молчишь, а? — ревел писарь... — Откуда ползешь?»

— Все мы из одних местов. Я от бабки ушел, я от дедки ушел и от тебя, писарь, уйду».

Вкусный и румяный Колобок из русской сказки, как известно, убежал от бабушки и дедушки и персонажей животного мира, однако оказался съе-

денным Лисой. Здесь старик Колобов — Колобок — выходит сухим из воды и словно проваливается сквозь землю:

«Попались какие-то мужики, которые пробовали заградить дорогу беглецу, но старичок прошел мимо них невредимо и еще обругал:

— Эх, дурачки, куда вам ловить Колобка!»

Этот эпизод заканчивается разрушением традиционного сказочного финала: гнавшийся за Колобком «рыжий мужик на рыжей лошади» (дважды повторенный эпитет «рыжий» делает его своеобразным дублером сказочной Лисы) послужил лишь всеобщим посмешищем, так и не догнав бегущего «виноходца». Таков первый эпизод в романе «Хлеб» — аллегорический пролог дальнейшего развития сюжета о хлебе: ведь «колобок» — не что иное, как все тот же хлеб («по сусекам поскребен, по коробам пометен, на сметане замешен, в масло положен...»), а чудом убежавший от мужиков-крестьян Колобов-Колобок символизирует будущее фантастическое исчезновение хлеба в некогда сказочно богатом крае.

Уже первые страницы романа — хождение Михея Зотыча по «обетованной земле» Заполья — заряжены мощной интертекстуальностью в отношении народной культуры и литературы Древней Руси. В частности, в сознании читателя возникают ассоциации с жанром хождения, а также социально-утопическими легендами о Христе и апостолах, которые в облике нищих ходят по земле, испытывая людей. Однако мотив поиска обетованной земли здесь как бы выносится за рамки романного сюжета — в рассмотренном нами эпизоде-прологе никем не узнанный Колобов-Колобок как истинный пилигрим прошел пешком сотни верст и уже открыл, вынашивает в душе и смакует вполне реальный образ Заполья — «*благодатного края*», «*угодного места*», «*божецкой благодати*»: «*Не житье им здесь, а масленица... Мужики богатые, а земля — шуба шубой*»; «*Вот так земля! — восхищался старик. — Овчина овчиной!*»

Запольская земля воспринимается Михеем Колобовым как истинное чудо: «*Земля-матушка сама родит*».

В другом месте эта же мысль вновь повторяется: «*Сама земля здесь родит*».

Мамин-Сибиряк в свойственной ему очерково-публицистической манере обнажает эту параллель с традиционным библейским сюжетом, прибегая и к прямому сравнению: «*Иногда на Михея Зотыча находило какое-то детское умиление, и он готов был целовать благодатную землю, точно еврей после переселения в обетованную землю*».

В конечном итоге самосознание героя традиционно соединяет идею «матери-сырой земли», «земли-матушки» и «хлеба-батюшки»: «*Все от хлеба-батюшки*».

Именно через фигуру старика Колобова в романе создается традиционный-сакральный образ хлеба в его различных ипостасях:

1. Устами Михея Зотыча транслируется сама логика обрядовой жизни русских: хлеб — в календарной и семейной обрядовой поэзии всегда символ достатка и благополучия, в конечном итоге — семейного благополу-

чия и счастья. В пестрой панораме запольской жизни Колобов увидел самую суть:

«Ваши-то запольские невесты на слуху. Богатые да щеголихи. Далеко слава-то прошла. По другим местам девки сидят да завидуют запольским невестам».

2. Посредством Колобова-старшего в романе реализуется и *онтологический смысл* понятия «хлеб»: он становится традиционной этикетной формой и формулой (*хлеб-соль*) русского застолья в эпизоде угощения Колобова, лично приехавшего сватать невесту для любимого сына Галактиона Михеича. Колобов-сват остается равнодушным к изысканным яствам — пище «на дворянскую руку» — и просит лишь «ломтик ржаного хлебца черствого да соли крупной, штобы с хрустом...».

3. Хлеб в устах Колобова-старшего обретает и *экзистенциальный смысл*, становясь традиционным мериллом человеческой судьбы, в народном понимании — доли:

«Вот и я вырос на ржаном хлебце, все зубы съел на нем, а под старость захотелось пшенички. Много ли нужно мне, старику?»

«Вырос на ржаном хлебце», и особенно «все зубы съел на нем» — это метонимический образ трудовой, полной лишений юности и молодости героя; «под старость захотелось пшенички» — здесь, опять-таки через метонимический образ, выражается желание героя разбогатеть и жить в полном достатке хотя бы в конце собственного пути. Представление о том, что Бог наделяет хлебом человека, причем вместе с «долей» — куском хлеба — человек получает и свою «долю», вместе с «частью» хлеба и свое «счастье», имеет архаический характер. Экзистенциальный смысл становится в конечном итоге лейтмотивом всего романа опять-таки через сюжетную линию старшего Колобова:

«Ах ты, дурашка, брюхо-то не зеркало, да и мы с тобой на ржаной муке замешаны. Есть корочка черного хлебца, и слава богу...»

«Да видно по обличью-то... Здесь все пшеничники живут, богатеи, а у тебя скула не по-богатуму: может, и хлеб с хрустом ел да с мякиной».

Хлеб в данном контексте — своеобразная лакмусовая бумага социального статуса человека, его богатства или бедности, — одним словом: «Скажи мне, какой хлеб ты ешь, и я тебе скажу, кто ты». «Скула» здесь становится метонимической заменой «обличья» человека.

4. Хлеб в романе также становится и символом *родового сознания* и *родовой, династической судьбы* человека:

«Ежели в отца пойдешь, так без хлеба не останешься».

Однако в данном эпизоде возникает и дополнительный смысл, связанный с целым романного контекста: хлеб, постепенно утрачивая традиционную статусность, становится, во-первых, эквивалентом денег и золота, во-вторых, — водки и пьянства в целом. Вообще, «золотая» тема мере развития сюжета (а именно с момента приезда в Заполье Галактиона Колобова, решившего жить «своим умом») начинает все отчетливее звучать в романе опять-таки в двух ипостасях — будучи формулой принадлежности человека

к «старинке» или к «нонешним временам». По-бабьи, в традиционной форме народного причета выражает свое отношение Анфуса Гавриловна:

«Ох, через золото много напрасных слез льется!..»

А старик Луковников обращается к народной афористике:

«...деньгами отца с матерью не купишь».

Актуальность на все времена последнего своего уральского романа Д. Н. Мамин-Сибиряк выразил афористически емко в письме к редактору-издателю журнала «Наблюдатель» А. П. Пятковскому: «Хлеб — все, а в России у нас в особенности».

Примечания

1. См., например: *Блажес В. В.* Содержательность художественной формы русского былевого эпоса: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов филол. ф-та. Свердловск, 1977. С. 35–79.
2. *Дергачева-Скоп Е. И.* Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 106.
3. Здесь и далее цит. по: *Мамин-Сибиряк Д. Н.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 7.

© Мотоусова О. Н.
г. Екатеринбург

КНИГА В. РОЗАНОВА «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»: ЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ

Проблема определения жанрового своеобразия книги В. В. Розанова «Опавшие листья» является одной из наиболее актуальных в современном литературоведении. После выхода в свет трилогии «Уединенное» и «Опавшие листья» стало ясно, что созданы новые яркие тексты, которые войдут в историю литературы. А. Н. Николюкин говорит о трилогии как о *«вершине жанра*, за которым десятилетия спустя последовали в нашей литературе “камешки на ладони”, “затеси”, “бухтины вологодские”, “мгновения”» [1, с. 282]. Проблема жанра была также затронута в исследованиях А. Синявского, Э. Голлербаха, Е. А. Невелевой, В. Шкловского.

А. Синявский указывает на близость отдельных фрагментов книги «Опавшие листья» жанру афоризма. Некоторые записи Розанова действительно представляют собой относительно замкнутое в себе художественно-философское целое. Например: «Смерть есть то, после чего ничто не интересно» [2, с. 92]. При этом каждый текст, подобно афоризму должен помещается на отдельной странице, именно так было задумано у Розанова. «Завещаю (+) моей перепечатывать все аналогичное и продолжающее “Уединенное” и “Опавшие листья” книги в том непременно виде, как напечатаны они (т. е. с новой страницы каждый новый текст), я, в целях компактности и, след., ускорения печати “павших листов”, отступаю от прежней формы, с крайним удручением духа» [2, с. 238]. Афоризм предполагает, что читатель на